

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Наступил вечер. Часы на небольшой нейнфельдской башне пробили шесть раз. Удары глухо загудели в воздухе; сильный ветер начинавшейся бури раздроблял звуки. Был ранний вечер, но непроницаемый мрак декабрьской ночи уже окутал землю. Где-то там, наверху, величественно сверкали звезды, там было ясно и светло, как в майскую безоблачную ночь, но кто думает об этом, когда небо отделено от земли разбушевавшейся стихией?

Никому не приходили в голову воспоминания о нежном лунном сиянии и в этих четырех мощных стенах, о которые буря бессильно ударялась своим снежным крылом. Внутри этого громадного, подобного исполинской игральной кости, куба бушевала другая стихия — пламя, но укрощенная человеком и управляемая им...

Нейнфельдская доменная печь работала на полную мощность.

Яркие багряные сполохи высвечивали голые стены и закопченные лица рабочих.

В домне пенился и клокотал, а затем капал с литейного ковша горячими слезами расплавленный металл, до того недвижно лежавший рудой в недрах земли. И вырвался он из своей вековой тюрьмы лишь для того, чтобы по прихоти человека принять какую-либо форму и застыть вновь.

Окна здания снаружи лишь слегка мерцали, тогда как внутри, в горне, бушевал огонь; точно чья-то дерзкая рука

с размаху кидала в небо полную горсть звезд — так порой оттуда выбрасывался целый сноп искр, бесследно рассыпавшихся в темноте.

Когда замер последний удар часов, дверь стоявшего неподалеку маленького домика, принадлежавшего горному мастеру, смотрителю завода, тихо отворилась. Дверной колокольчик, обычно звонкий и неутомимый, на этот раз не подал своего голоса, очевидно сдержанный чьей-то заботливой рукой. На пороге появилась женщина.

— А вот и зима! Снежок, словно на Рождество! — воскликнула она.

В этом возгласе слышалось радостное изумление, которое возникает при неожиданной встрече с добрым старым приятелем. Голос был несколько резковат для женщины, однако он никогда не раздражал слуха прихожан Нейнфельда, и всему сказанному этим звучным голосом они верили, как Евангелию.

Женщина стала осторожно спускаться со скользкого крыльца. Красноватые лучи фонаря, который она держала в руке, осветили пушистый снег; сильный порыв ветра в одно мгновение смел этот нежный покров, заставив его закрутиться по дороге, и набросил ей на голову капюшон салопа.

Пасторша опустила капюшон на спину, крепче воткнула гребень в толстые косы, скрученные на затылке в узел, и надвинула глубоко на лоб платок. Точно сказочная великанша стояла эта высокая, крепко сложенная женщина среди снежной вьюги. Свет от фонаря падал на ее энергичное, свежее лицо, относящееся к тому типу лиц, на которых ни суровое дыхание зимы, ни жизненные невзгоды не оставляют следов.

— Я должна вам кое-что сказать, любезный мастер, — обратилась она к мужчине, который, провожая ее, остановился у дверей. — Там я не хотела... Слов нет, капли мои хороши, и против чая из бузины я тоже ничего не имею,

но не мешало бы старой Розе провести сегодняшнюю ночь у больного. Да, кстати, нет ли поблизости кого из горнорабочих, чтобы в случае чего послать за доктором?

На лице мужчины появилось выражение испуга.

— Не отчаивайтесь, будьте мужественны, любезный друг, не все в этой жизни идет как по маслу, — ободрила его пасторша. — Да и доктор, в самом деле, не оборотень же какой, с которым стоит лишь связаться, так жди беды... Я бы охотно побывала у вас еще, потому что вы, как видно, не из храбрецов у постели больного. Но мои маленькие птенчики там, дома, верно, уже проголодались, а ключи от кладовой со мной, и одного картофеля, что у Розамунды, будет недостаточно... Ну, с Богом! Давайте капли, как я сказала, а завтра утром я опять приду.

Она пошла прочь. Ветер раздувал ее одежду; дрожащий свет фонаря, мелькая, то скользил по ветвям деревьев, то полз по дороге. Но вьюга могла сколь угодно реветь и бушевать: женщина мало обращала на это внимания, поступь ее оставалась мерной и твердой.

Горный мастер еще стоял у дверей; взор его следил за удаляющимся огоньком, пока тот не скрылся из виду. Между тем вьюга несколько стихла, непогода как бы задержала свое бурное дыхание. Издали доносился шум падающей с плотины воды, с завода раздавался гул. Послышались приближающиеся шаги, и вскоре из-за угла дома показалась мужская фигура. Солдатская шинель болталась на худых плечах, военная фуражка удерживалась платком, подвязанным под подбородком; в руке подошедшего был большой фонарь.

— Что вы тут стоите? — воскликнул он, когда свет от фонаря упал на лицо стоявшего на крыльце мужчины. — Студента еще нет, и вы поджидаете его, так?

— Нет, Бертольд уже здесь, но он болен, что очень беспокоит меня, — ответил горный мастер. — Входите, Зиверт.

Комната, в которую они оба вошли, была большой, но с низким потолком. Стены, оклеенные светлыми обоями, были увешаны семейными портретами. Ситцевые, с крупным узором оконные занавески, заботливо опущенные и сколотые вместе посередине, скрывали вьюгу, свирепствующую снаружи, и только чуть колыхались, приводимые в движение проникающим через оконные щели ветром. В каждом жилище в Тюрингенском лесу, придавая ему уютный и домашний вид, была изразцовая печь, которая нередко топилась даже среди лета. Исполнинским массивом высилась она в этой комнате, распространяя приятное тепло.

Вид старомодной комнаты невольно пробуждал чувство уюта и покоя. Впечатление несколько портил неприятный запах чая из бузины. Наскоро устроенная из зеленой бумаги ширмочка заслоняла свет лампы; маятник деревянных настенных часов был остановлен — все указывало на заботливую руку и свидетельствовало, что мир и спокойствие нарушены болезнью.

Предмет этого заботливого ухода, казалось, всячески сопротивлялся навязанной ему роли больного: на импровизированной постели, устроенной на софе, лежал юноша, голова которого металась на белых подушках; теплое одеяло сползло на пол, а строптивый пациент в ту минуту, когда горный мастер с гостем входили в комнату, с отвращением отталкивал от себя чашку с отваром бузины.

Неприкрытый с одной стороны свет лампы позволял лучше рассмотреть горного мастера. Это был красивый мужчина внушительного вида. Казалось необъяснимым, каким образом мог он двигаться в этой низкой комнате, когда потолок почти касался его кудрявой головы. Странный контраст представляли собой светлые волосы и черные брови, сросшиеся над переносицей и придававшие лицу неожиданно меланхолическое выражение. По на-

родному поверью, подобные лица несут на себе печать горестной участи, которая их ожидает в будущем.

Посторонний наблюдатель никоим образом не принял бы больного за кровного родственника этого высокого мужчины. Там — юношеское бледное, алебастрового оттенка худощавое лицо с римским профилем в обрамлении густых, черных как вороново крыло вьющихся волос, здесь — истый германский тип: мужчина с русой бородой, полный свежести и силы, стройный как пихта, его соотечественница, растущая в родных горах. Это разительное несходство во внешности не мешало, однако, братьям быть похожими во всем остальном.

Горный мастер быстро подошел к постели, приподнял свесившееся на пол одеяло и укутал больного по самые плечи, затем поднес к его губам отодвинутую чашку с питьем. Все это было сделано молча, но с выражением такой заботливой строгости, которой волей-неволей приходилось подчиняться. Пациент притих, покорно осушил до дна поднесенную чашку, потом в каком-то нежном и страстном порыве схватил руку брата и, проведя ею по своей щеке, опустил к себе на подушку.

Тем временем человек в солдатской кавалерийской шинели подошел ближе.

— Ну, молодой человек, таким-то образом вы изволите располагаться на постое? Стыдитесь, — прибавил он и поставил фонарь на стол.

Обращение это было шутливым, но необыкновенно грубый и резкий голос говорившего придавал ему тон крикливого наставления. Впечатление усиливалось суровым выражением лица под ярко-красным полушерстяным платком, повязанным вокруг головы и своим оттенком напоминавшим цыганский.

Больной приподнялся; краска разлилась по его бледному лицу, и взволнованный взгляд мрачно и вопросительно

остановился на вошедшем, которого больной доселе не замечал. При этом рука его машинально потянулась к лежащей на столе студенческой фуражке со значком корпорации, к которой он принадлежал.

— Не беспокойся, Бертольд, — улыбнувшись этому движению, сказал мастер. — Это наш старый Зиверт.

— Э, да разве молодцу известно что о старом Зиверте? — отрезал человек в солдатской шинели. — Такой лихой парень, чай, позабыл уже, какова на вкус детская каша, не так ли, господин студент? А вот как раз на этом самом месте, где вы сейчас лежите, стояла когда-то люлька, а в ней барахтался крошечный мальчуган и криком звал свою умершую мать. И у отца, и у Розы, подступавших к нему с кашей, выбивалась из рук ложка. Уж не знаю, почему понравилось вам тогда мое лицо, и вот посла за послом стали командировать в замок, и Зиверт должен был приходиться кормить молодца... А как малый был доволен тогда! Слезы еще катились по щекам, а каша уже благополучно отправлялась куда следовало.

Студент протянул через стол обе руки к говорившему. Упрямство, отражавшееся дотоль в его юношеских чертах, уступило место почти девичьей нежности.

— Мне нередко рассказывал об этом отец, — произнес он мягким голосом, — а с тех пор как Теобальд стал горным мастером в Нейнфельде, так и он часто писал мне о вас.

— Так-так, может быть, — проворчал Зиверт, желая, по-видимому, положить конец этому разговору.

Он сбросил шинель, и странный его вид заставил студента рассмеяться. На правой руке старика висел белый жестяной котелок с ручками, рядом с ним — плетеная ивовая корзинка, в которой лежал хлеб, к пуговице сюртука была прицеплена связка сальных свечей, а из бокового кармана выглядывали стеклянная пробка от графинчика с ромом и что-то, завернутое в бумагу.

— Да-да, смейтесь! — сказал старик. На этот раз в его голосе действительно прозвучало раздражение, но в то же время почувствовалось и какое-то смирение.

— Тогда привелось быть нянькой, — продолжил он, — а теперь пришлось стать поваренком... Положим, и мой отец убаюкивал меня в колыбели... Ну, да что тут говорить... Старая барыня не пьет козьего молока, что барышня Ютте так же известно, как и мне, даже лучше. А не подумай я принести коровьего, так и останется ни с чем... Сегодня устал до смерти: был в лесу, нарубил там порядочную вязанку дров и рад-радешенек, что будет чем истопить печь, а о молоке-то и забыл; в шкафу — ни крошки хлеба, в подсвечнике догорает последний огарок. А барышня Ютта нарядилась, точно на придворный пир у марокканского султана, и то и дело поминает «общество, которое соберется к чаю». Только этого нам недоставало в Лесном доме! Интересно знать, о чем она стала бы говорить с господином студентом? Разве что о...

Все это время яркая краска не покидала лица горного мастера. При последнем восклицании он угрожающе поднял указательный палец и так гневно взглянул на старика, что тот робко опустил глаза и смолк, не окончив речи. Студент же, напротив, был само сосредоточенное внимание: руки его неподвижно лежали на столе, он не сводил глаз с губ говорившего.

— Вот и крестьянского хлеба я не смог принести старой барыне к обеду, — продолжал Зиверт после небольшой паузы. — Бегал в Аренсберг, и управитель замка, *volens-nolens*¹, вынужден был поделиться им со мною. У него там тоже голова идет кругом. В кухне распоряжается повар из А., с полдюжины слугителей возятся, чистят, топят, зажигают огни — его превосходительство министр, несмотря

¹ Волей-неволей (лат.). (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)

на бурю и снежную метель, сегодня вечером пожалует в Аренсберг. В А., в частности в его собственном доме, вспыхнул тиф, так вот он и хочет спасти маленькую графиню в уединенном Аренсберге.

Тень глубокого неудовольствия пробежала по красивому лицу горного мастера. Он быстро прошелся по комнате взад-вперед.

— И вы не знаете, как долго пробудет здесь министр? — спросил он, останавливаясь.

Зиверт пожал плечами.

— А кто его знает. Я, со своей стороны, думаю, что дело тут не в ребенке, а в собственной священной особе его превосходительства; он будет ждать, пока «непрощенный гость» не уберется из А.

Эти сведения, очевидно, не были приятны молодому человеку; он в задумчивости остановился на минуту посреди комнаты, воздержавшись от дальнейших расспросов.

— Зиверт, — произнес он наконец, — вы помните господина фон Эшенбаха?

— Как же! Он был лейб-медиком у принца Генриха и вылечил меня, когда я сломал руку. Шестнадцать лет тому назад он отправился за море, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Уж не попал ли он, чего доброго, на обед рыбакам?

— Пока нет, Зиверт, — улыбнулся горный мастер. — Сегодня после обеда я получил от него письмо, давно отправленное и адресованное моему покойному отцу. Тот, кого все считали пропавшим, пишет собственноручно, что с грустью и вместе с тем с удовольствием вспоминает о том времени, когда из замка Аренсберг хаживал, бывало, в Нейнфельд к смотрителю завода и пил у него густое молоко, отдыхая под липами. Он живет в Бразилии бездетным холостяком, владеет рудниками и плавильными заводами, но ведет жизнь отшельника. В заключение он обращается к отцу с просьбой прислать

к нему одного из сыновей, так как болен и нуждается в поддержке.

— Э, да там наследство будь здоров!

— Вам известно, Зиверт, что ничто в мире не заставит меня покинуть Нейнфельд, — возразил отрывисто горный мастер.

— Что касается меня, я не расстанусь с Теобальдом! Золотые и серебряные рудники господин фон Эшенбах может сохранить для себя! — оживился студент, на его щеках выступили два лихорадочных пятна.

— Ну-ну, бог с ним, с его наследством, — проворчал Зиверт, машинально опускаясь на стул. — Вот как! Стало быть, он разбогател, — произнес он после недолгого молчания, задумчиво проводя рукою по небритому седому подбородку. — Семейства-то он очень небогатого...

— А почему он отправился в Бразилию? — перебил его студент.

— Почему? Об этом долго рассказывать. Иной раз думается мне, оставила ему по себе память одна недобрая ночь.

В эту минуту буря завывала с большей силой. Окна зазвенели; слышно было, как сорванные вихрем куски черепицы с треском грохнулись на мостовую.

— Слышите? — проговорил Зиверт, указывая через плечо пальцем на окна. — Тогда тоже была зимняя ночь, да такая, что, чудилось, все из преисподней, сговорившись, высыпали на охоту в наш Тюрингенский лес. Слышен был то вой, то свист, то треск — так и казалось, что вот-вот все это обрушится на замок и сметет его с лица земли. Картины на стенах дрожали, пламя из каминов так и рвалось в комнаты... Утром все статуи в саду валялись на земле; огромные деревья были вырваны с корнем, будто тростинки; по всему двору — целые кучи разбитых стекол, оконных рам, черепицы. На разрушенной крыше развевался траурный флаг, а в Арнсберге раздавался протяжный

колокольный звон, потому что в ночи принц Генрих отдал Богу душу.

На минуте он смолк.

— И к чему, думаешь, нужен был им этот звон? — продолжил он с неприязненной усмешкой. — К чему было княгине распускать длинный траурный шлейф? И какую надобность имела страна в этих черных рамках в газетах? Ведь всем было известно, что до самой кончины принца они были с ним в смертельной вражде... Вы должны это помнить, мастер.

— Да, хотя я был тогда совсем ребенком, помню, какая ненависть существовала между двором в А. и Арнсбергом. Принц даже требовал, чтобы его люди не имели никаких сношений с княжескими чиновниками, и отец мой, как служащий от правительства, пострадал тогда.

— Совершенно верно. А кто из дворян не покинул тогда принца Генриха и жил у него в Арнсберге?

— Во-первых, ваш хозяин, Зиверт, майор фон Цвейфлинген, затем господин фон Эшенбах и теперешний министр, барон Флери.

— Так точно, и этот! — горько усмехнувшись, произнес рассказчик. — Вся жизнь свою он был пройдохой! Майор и господин фон Эшенбах никогда не показывались в городе, не говоря уже о дворе, где их не жаловали. Но его превосходство был и нашим, и вашим. Прах его знает, как он всех околдовывал, только каждая партия будто зажмурировала глаза, когда он бросал ее и переходил на другую сторону. Все сходило с рук этому французскому флюгеру у этих, прости господи, ошалелых немцев. Извольте видеть, при дворе в А. рассчитывали использовать его, что он, дескать, примирит обе стороны, когда дело коснется наследства. Эх, не доросли они все до той женской головки, которая стала им попереки дороги!

— Графиня Фельдерн, — кивнул горный мастер, и лицо его омрачилось.

— Да, графиня Фельдерн, владелица Грейнсфельда. Принц называл ее своей приятельницей, но люди были не так учтивы и называли ее совсем иначе, и совершенно правильно. Она вертела его светлостью, как хотела, туда-сюда, во все стороны. Когда он говорил «белое», она утверждала, что это «черное», и всегда было по ее... Господи, поневоле подумаешь, не было ли тут какой скверны и греха, — ведь все прошло безнаказанно! Презренная женщина умерла тихо и спокойно, как какая-нибудь праведница! Только раз в своей жизни она испытала страх и беспокойство, и было это в ту самую ночь...

Какие воспоминания всплыли в памяти старика и даже заставили его изменить привычной молчаливости? Выражение затаенного гнева было явным: крепко сжались губы, в полных ненависти и презрения словах исчезла обычная монотонность голоса. Это было не похоже на Зиверта. Больной, забыв про лихорадку, весь обратился в слух, между тем как брат его напряженно следил за рассказом, отчасти уже известным ему.

— ...Живущие в замке давно перешептывались, что скоро придет конец царствованию графини, — продолжал Зиверт. — Каждому бросалось в глаза, что принц день ото дня дряхлеет, только она одна не хотела замечать этого. В те дни графиня, как никогда, была зла до безумия. И вот принцу вздумалось похвалить свою покойную супругу. Сию же минуту ей пришла в голову мысль устроить в своем замке большой маскарад, но тут онахватила через край: это было как раз в день смерти бедной доброй принцессы. Принц побледнел от гнева и строго-настрого приказал отложить праздник. Не тут-то было: весело рассмеявшись в ответ на запрещение, она объявила, что день этот как нельзя кстати и что она желает справить тризну по принцессе и устроить в ее честь иллюминацию...

Настал вечер. К удивлению всех, и в особенности самой графини, принц остался дома, и трое господ с ним: мой майор, барон Флери и господин фон Эшенбах, которые тоже были приглашены. Принцу нездоровилось. Вечером, усевшись за игру в карты, он отослал прочь всех лакеев, и только я, по его приказанию, остался в передней...

Вот один-одинешенек и сидел я у окна, прислушиваясь к вьюге, неистово завывавшей на дворе. Господи, что за звуки разносились над старым замком! То слышалось точно пение какое, то звон; все, что старые стены видывали на своем веку, — и турниры, и банкеты, и всякие празднества, а также немалое число преступлений и злодеяний — все это, точно сговорившись, с воем, свистом и гуденьем поднялось...

...Пробило одиннадцать, а в замке еще всюду горели огни; ни один человек не решался сомкнуть глаз... Вдруг слышу, в комнате задвигали стульями, кто-то сильно рванул колокольчик, и, когда я отворил дверь, принц Генрих, бледный как мертвец, с выкатившимися глазами, лежал в своем кресле, а кровь ручьем лилась у него изо рта и из носа... Прислуга металась с жалобными стонами, но войти не смела, и я тоже...

Господин фон Эшенбах знал свое дело — он был хорошим доктором, но, как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать, и для принца, видимо, пробил последний час. Из комнаты вышел барон Флери и потребовал лошадь. «Принц при смерти, — сказал он шталмейстеру громко, чтобы даже люди, стоявшие на последних ступеньках лестницы, могли слышать. — Поездка в подобную ночь в А. все равно что самоубийство, но принц желает примириться с князем, и подлец тот, кто не пожертвует для этого жизнью!» Пять минут спустя он уже мчался по дороге в А. В замке воцарилась тишина... А графиня пускай себе танцует, танцует до тех пор, пока князь не будет иметь

в своих руках принадлежащего ему по праву наследства. Я снова подошел к окну и в смертельном беспокойстве стал считать минуты — добрый час требовался хорошему всаднику, чтобы достичь города.

Мой майор и господин фон Эшенбах остались у принца. Он был в полном сознании, и когда я подходил ближе к двери, то явственно слышал, как он, прерывисто дыша, медленно диктовал что-то обоим господам... А там, вдали, лежал замок Грейнсфельд — не будь такой метели, из моего окна можно было бы видеть иллюминацию в честь принцессы. «Пляши себе сколько душе угодно, — думал я, когда башенные часы пробили двенадцать. — Пройдет час, и пляска твоя будет стоить полмиллиона». Едва замер последний удар, буря снова дала о себе знать: сильный порыв ветра снес дымовую трубу, и кирпичи с грохотом ударились о мостовую. Вслед за этим послышался цокот лошадиных копыт и стук колес. Дверь внезапно отворилась, и на пороге появилась эта женщина. Сам сатана привел ее сюда! До сих пор никто не знает, как это случилось, кто был изменником. Она сорвала с себя меховой салоп, бросила его на пол и побежала к комнате умирающего. Но тут стоял я и держал руку на дверном замке. «Туда никто не должен входить, графиня», — сказал я. На одно мгновение она точно окаменела, ее горящие глаза стрелами впились в мое лицо. «Наглец, ты дорого за это заплатишь, — прошипела она. — Прочь с дороги!» Я не сдвинулся с места. Но в комнате, верно, услышали — вышел майор. Он быстро закрыл за собой дверь и стал на мое место. Я отошел в сторону... Странное дело: у него в лице было что-то такое, что мне не понравилось... Вы знавали графиню, мастер?

— Да, она слыла красивейшей женщиной в свое время... В замке Аренсберг и теперь еще висит ее портрет: стройный, гибкий стан, большие, черные как уголь глаза, белоснежное лицо и блестящие золотистые волосы...

— Да, такая, — прервал Зиверт с горькой усмешкой это описание. — Прах ее знает, что она такое делала с собой! Тогда ей было за тридцать и у нее была уже семнадцатилетняя дочь, но надо было ее видеть — кровь с молоком! Самая молоденькая женщина терялась рядом с ней, и никто на свете не знал этого лучше, чем она сама. Презренная комедиантка! Как подкошенная, припала она к ногам моего господина и своими белыми руками обхватила его колени. Она была в бальном наряде, блестящая и сияющая, а золотистые волосы, растрепанные бурей, почти касались пола; лишь одна прядь, спускаясь около уха, тонкой змейкой вилась вдоль белой шеи. Да, поистине то была змея, искусившая мужчину и запятнавшая его честь... Господи, как у меня чесались руки прогнать с порога эту лицемерку, протягивающую руку за чужим následством! Майор, бледный как смерть, стоял тут же и был в ужасе от царапины на лбу презренной женщины — камень из повалившейся трубы оцарапал ей кожу. Эх, угоди он получше... «Я удивляюсь, Цвейфлинген, — проговорила она слабо, точно при последнем издыхании, — неужели вы хотите оставить меня умереть здесь?» И она схватила его руку и поднесла к своим лживым устам... Тут по лицу его точно разлилось пламя. Он быстро рванул ее с пола. Не знаю, что произошло — женщина эта была просто дьявольски хитра и проворна, ибо в мгновение ока она уже была в комнате и бросилась к постели умирающего... «Прочь, прочь!» — закричал принц, отмахиваясь от нее руками; тут целый поток крови хлынул у него изо рта, и через десять минут его не стало.

— Говорит же пословица: «Ночь — недруг человека», — прервал себя старый солдат, горько усмехаясь, — но для плутов нет лучшего друга, чем она. Желал бы я знать, получила бы графиня наследство, если бы ясное солнышко светило в комнате умирающего? Полагаю, что нет. Ког-

да принц испустил дух, она, бледная как смерть, поднялась с колен, но ни тени сожаления, ни единой слезы не было на ее высокомерном лице. И так, она встала и хлопнула дверью прямо перед моим носом. Более получаса оставалась графиня там, что-то говорила, что именно, не знаю, но в голосе ее слышалось смертельное беспокойство. Затем оба господина вышли и объявили всем о кончине принца. Мой майор прошел мимо меня, не взглянув, точно я был стеной или чем-то подобным. Раньше я сказал, что целая дьявольская охота носилась в эту ночь по Тюрингенскому лесу. Подлинно так оно и было: графиня играла тут роль Венеры, а Тангейзером был мой господин. С тех пор он стал совсем пропащим человеком, а графиня же — первой богачкой страны. Завещание, оставшееся после принца, написано было во время самой сильной неприязни между покойным и двором в А. и пика могущества графини, а что написано пером, того, как известно, не вырубишь и топором. Никакое судебное расследование не могло тут ничего поделать. Все отказано было этой пронице, ни единого гроша не перепало на долю бедняков страны.

— Проклятье! — студент с силой ударил кулаком по столу. — Князь не подоспел вовремя!

— Вовремя? — повторил Зиверт. — Да он и не приезжал. Под утро крестьяне неподалеку от А. поймали оседланную лошадь без всадника, а барона Флери нашли в канаве близ дороги. Он упал с лошади и вывихнул себе ногу, так что не мог двинуться с места. Я видел, когда его принесли на носилках. Платье было разорвано и забрызгано грязью, волосы этого героя, всегда напомаженные и подвитые, теперь свисали ему на глаза, точно у цыгана. Но ему хорошо за все это заплатили. Не было забыто, что он жертвовал жизнью, чтобы доставить наследство княжескому дому, и вот он уже министр.

— А господин фон Эшенбах? — спросил студент.

— Господин фон Эшенбах? — переспросил Зиверт, потирая лоб. — По поводу его-то я и рассказал вам эту постыдную историю. Для него эта ночь тоже не прошла даром. Вначале было еще ничего, он был весел и беспрестанно ездил в Грейнсфельд. Но это длилось всего два дня. Он уехал в А. как раз в тот день, когда в Грейнсфельде праздновалась великолепная свадьба: молодая графиня выходила замуж за графа Штурма, и оттуда скрылся... Так и пошел бродить по белу свету; человек он был свободный, ничто его тут не держало, не было ни жены, ни детей, как у майора...

Под конец рассказа горный мастер приблизился к окну, раздвинул занавески, и упоительный цветочный аромат разнесся по комнате. На подоконнике цвели в горшках фиалки, ландыши и нарциссы. Молодой человек безжалостно срезал лучшие из них и осторожно завернул в белый лист бумаги. При последних словах Зиверта он повернул голову. Быстрый взгляд брата, брошенный вскользь, вызвал яркий румянец на его лице.

— Довольно, оставим в покое старые истории, Зиверт, — оборвал он речь солдата. — Вы всегда поступаете хорошо, а между тем другие найдут, что осудить в ваших поступках. Вы — верный слуга!

— Против воли, совершенно против воли, мастер, — возразил с ожесточением Зиверт, поднимаясь и поспешно собирая свои вещи. — Если кто любил своего господина, так это я; в ту пору, когда он еще дорожил честью, я за него готов был в огонь и в воду. Но впоследствии, когда он стал шутком графини, начал играть и пить с бароном Флери и его шайкой, проводить ночи в «благородных барских удовольствиях», дурно обращаться со своею женой, которая рада была за него отдать свою кровь по капле, я возненавидел его, почувствовал к нему презрение. Тут, к обоюдному нашему счастью, он мне отказал от места. Правда, как говорится, он умер на поле чести! В людских глазах он искупил

этим все содеянное им зло. Но если это так, то отчего же после того, как какой-нибудь банкрот в отчаянии наложит на себя руки, люди осуждают его на вечные времена? Господи! Все пошло прахом, все было спущено, даже эта жалкая развалина, Лесной дом. Ее сиятельству, разумеется, не приходилось иметь дела с нищими, и вот последний из Цвейфлингенов бросился в Шлезвиг-Гольштейн и там подставил свой лоб под густой град ядер и пуль. Это, конечно, не самоубийство, ибо кто посмеет назвать таким словом подобную вещь! Честь дворянина была спасена, а до несчастной вдовы никому не было дела: справляйся как сама знаешь! Но ее благородные руки привыкли лишь выдавать деньги, а вот работать ими, чтобы поддерживать свое существование... Ну, к этому они не привыкли, слишком знатны для того!

Он набросил на плечи шинель и взял фонарь.

— Ну вот, облегчил я свое сердце, — произнес он с глубоким вздохом. — Не назовите вы имени Эшенбаха, ничего бы не было... Поплетусь-ка я домой и потащу дальше свое бремя... Но еще слово, мастер: не называйте вы меня никогда верным служителем. Чтобы исполнять свои обязанности как следует, надо иметь в сердце любовь и терпение, а у меня этого нет... Майор мог оставить мне хоть десять писем, подобных тому, что нашли у него в кармане после сражения при Идштедте, когда он погиб, это не заставило бы меня пойти к его жене и дочери. Но много лет тому назад, когда отец мой в результате одного бесполезного процесса должен был лишиться своего крестьянского надела, майор, наняв за свой счет лучшего в стране адвоката, дал возможность моему старику закрыть глаза в родном гнезде. Вот это-то мне тогда и пришлось на память; я собрал свои пожитки и с тех пор вот и обретаюсь в должности домоправителя, поваренка, поставщика дров, судомойки и прочей прислуги при госпоже фон Цвейфлинген.

Выражение едкой иронии в голосе старика усилилось, проявившись в шутливом достоинстве осанки и мимики, когда он перечислял свои обязанности. Горному мастеру выходка эта, видимо, была неприятна. Губы его были сжаты, лоб нахмурен, а густые брови еще ближе сошлись на переносице. Молча положил он сверток бумаги, который держал в руках, на стол. Зиверт быстрым шагом приблизился к нему.

— Давайте сюда, — сказал он и, взяв сверток, положил его поверх хлеба в свою корзину. — Я окажу вам любезность. Ладно, оставим эти старые истории... Цветы я передам, не напрасно же они, бедняжки, были срезаны! Также извещу, почему сегодня вы не смогли прийти к чаю. Итак, доброй ночи и скорого выздоровления господину студенту.

Старик вышел из комнаты.

Буря не стихала, и вечер был мрачен.

Глава 2

Он пошел по той же дороге, по которой чуть раньше отправилась пасторша, в селение Нейнфельд, отстоящее от завода на расстоянии ружейного выстрела. Несмотря на малое расстояние, путь был нелегок. Целые сугробы были нанесены бурей; из-за хлопьев снега, вихрем крутившихся в воздухе, не видно было даже рябин, которые росли по обе стороны дороги.

Старый солдат с презрением к этому препятствию быстро шагал вперед. Придерживаемую платком фуражку он сдвинул на затылок, чтобы освежить разгоряченное неприятными воспоминаниями лицо. Хрустевший под ногами снег пробуждал в нем чувство какого-то детского задора. Шаги стали бодрее, а в мыслях представлялась теперешняя его жизнь, постылая и ненавистная, но покориться которой он считал своим долгом. И вот, таким